Библиотека Спортивной Прозы

Юрий Нагибин

ИСПЫТАНИЕ

·Физкультура и Спорт·

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Когда играющий тренер «Локомотива» выкинул рассказчика из юношеской футбольной школы, ему открылась прелесть лаун-тенниса. Его партнером на корте стал Владимир Осипович Роскин…

- Ю. М. Нагибин
  - ○
- notes
  - ○ 1

Ю. М. Нагибин
Fair play

Когда играющий тренер «Локомотива» Жюль Лимбек выкинул меня из юношеской футбольной школы, так и оставшейся его невоплощенной мечтой, в моей жизни образовался провал, который не заполнить было исступленным бумагомаранием. Лимбек перестал верить в мое футбольное будущее, догадавшись, что в нацеленном на ворота центрфорварде с неплохим ударом скрывается писателишка. «C'est un ecrivain!»[1] — сказал он презрительно после разбора одной из трудных игр, когда я углубился в психологию наших противников, и погас костер, озарявший мое отрочество и раннюю юность. И пусть я уже ощущал литературу как свою судьбу, футбол приучил меня сильно чувствовать тело, и оно не мешало в прикованности к письменному столу, надо было найти новый отток избыточной мышечной энергии; бега трусцой — панацеи от всех бед — тогда не знали.

Мой верный и, хоть младше годами, куда более разносторонний друг Оська открыл мне прелесть твердого, пружинящего под стопой, посыпанного рыжим песком корта и тугих певучих струн теннисной ракетки. Он объяснил мне правила игры, научил счету, продемонстрировал подачу, драйв и смеш, но забыл показать, как надо держать ракетку. И я взял ее неправильно — чуть не за середину ручки. Не ведая о своей ошибке, я вскоре заиграл до того ловко, цепко и результативно, что переучиваться потом мне, естественно, не захотелось. Пусть Оська держал ракетку как положено — молотком, а принимая удар, поворачивался боком к сетке и отбивал мяч после отскока с верхней, точки, это ничуть не помогало ему в сражениях с неучем, который держал ракетку, как веник, всегда стоял лицом к сетке, а все мячи «выковыривал» от самой земли. Да, у меня не было ни сносной подачи, ни драйва, ни сильного смеша, слева же я все мячи подрезал, и они шли по крутой, высокой дуге на малой скорости, своего доброго учителя я разделывал всухую. Оська и сам понял, что не партнер мне, и уступил меня куда более сильному игроку — своему отцу, долго не принимавшему меня всерьез.

Я рассказываю о временах давних, довоенных, в ту пору немногочисленные энтузиасты тенниса — любители и мастера — ютились на маленьком стадионе «Динамо», что в глубине необъятного двора, вернее, целой системы дворов,

простиравшихся от Петровки до Неглинной. В зимнее время корты заливали водой и превращали в каток, самый уютный и лирический из всех московских катков. Норвежские ножи тут были запрещены, поэтому на «Динамо» не бегали, а катались по маленькому кругу, обычно об руку с девушкой, под музыку из репродукторов. Едва ли не самые поэтические воспоминания юности связаны у меня с этим катком. Летом здесь хозяйничали теннисисты. На нескольких особенно ухоженных кортах проводились всесоюзные соревнования, международные встречи (тут играл сам великий Коше!), на остальных резались (часто на малый интерес: пирожные, шоколад, шампанское — из местного буфета) любители разного ранга. Среди них выделялся пожилой, жилистый, гладко выбритый человек в пенсне; держа ракетку чуть не за обод и не обладая поставленным ударом, он за счет великолепной реакции, железной выдержки, интуиции — всегда знал, куда противник отправит мяч, — брал верх не только над перворазрядниками, но, случалось, и мастерами. Прошло какое-то время, и во мне стали видеть возможного преемника славы дивного старца. Совершенно напрасно, как впоследствии выяснилось.

К тому времени, когда Владимир Осипович Роскин согласился играть со мной, я уже обыгрывал иных классных игроков, которых подводило сознание своего превосходства над упрямым и суетливым любителем с непоставленным ударом. Роскин (по профессии художник) довольно высоко котировался среди любителей динамовского теннисного братства, он играл парные и миксты против разрядников и как игрок был на голову выше своего сына. Его игра была куда лучше моей, что не мешало ему безнадежно проигрывать. Оська вообще не думал о выигрыше, только о красивом и сильном ударе. Теннис привлекал его эстетически. Белые наглаженные брюки (тогда играли только в брюках), белая рубашка с короткими рукавами, звенящая элегантная ракетка, мячи, похожие на аппетитные булочки, красноватый песок площадок, загорелые стройные люди, иные с громкими именами, горячий кофе и бриоши в буфете, атмосфера праздничности — все это чрезвычайно импонировало не лишенному снобизма Оське, впрочем как и мне, но я еще хотел выигрывать. В этом сказывалось глубокое различие между нами, которое обнажала игра. Режиссер Жан Ренуар, сын знаменитого художника, сказал, что жизнь — это состояние, а не предприятие. Для Оськи игра, соревнование, спортивная борьба были частью общего, радостного, упоенного состояния, именуемого жизнью, были струями, пенными завихрениями в блаженном потоке, несущемся неведомо куда, да это и не важно, ибо счастье и смысл

в самом движении, а не в достижении берега. Для меня же, увы, жизнь была и осталась предприятием.

Понять отношение к игре оськиного отца было довольно сложно. Играл он серьезно, старательно, без малейших расслаблений, сохраняя маску полной невозмутимости.

В ту пору немало художников — из оформительского в основном цеха — работало «под англичанина». Один так заигрался, что стал для всех Джоном, хотя и не думал отрекаться от своего простого русского имени. Тут не было ничего от пресловутого монтера Вани, «что в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан». Кстати, почти все эти художники принадлежали к кругу Маяковского, иные учились с ним во Вхутемасе, работали в РОСТа и по рекламе, иллюстрировали его стихи и поэмы. Владимира Осиповича связывала с Маяковским тесная дружба, общие взгляды на искусство и карты. У художников хватало вкуса не ломаться под Маяковского, которого они боготворили, английский же стиль возник как самозащита. Все они принадлежали к авангарду и, не желая в годы торжества фотографического реализма отступать от собственного лица, подались в оформители и если не вовсе забросили станковую живопись, то уже не выставлялись; маска невозмутимого, молчаливого джентльмена хорошо скрывала разочарование.

Выше я обмолвился сомнительным словом «маска». Обычно маску носят, чтобы прикрыть нечто весьма непривлекательное, о чем не следует знать окружающим. Но маска может прикрывать и легкую ранимость, уязвленное самолюбие, стыдливую азартность. Подобно Маяковскому, Владимир Осипович терпеть не мог проигрывать. Борьба у нас шла в каждом гейме, за каждый мяч, но я его неизменно дожимал. Его поставленной, с сильными ударами игре недоставало класса, чтобы одолеть мою вязку, изнурительную для сопернике игру, убаюкивающую качку, которую мне иной раз удавалось завершить неожиданным выходом к сетке. Раздраженный моей цепкостью, безостановочной беготней по всей площадке, он в конце концов посылал мяч в сетку или в аут. Мне не надоедали мои однообразные победы: в глубине души я знал, что он играет лучше меня. И он это знал и верил, что наконец-то возьмет верх. Но чего-то ему не хватало, какой-то малости, я не мог взять в толк какой. Может, он и вообще не из тех, кто побеждает. Его участь — быть стойким и прекрасным в поражении, которое в этическом плане нельзя отличить от победы. Владимир Осипович научился у Маяковского стремиться к выигрышу: стиснув зубы, всосав худые щеки, остекленив взгляд серо-зеленых глаз, он мужественно боролся, но неистребимое благородство сводило на нет все его усилия.

Рисунок игры был для него важнее результата. Он не мог заставить себя гнаться за безнадежным мячом, использовать явный промах, нудно «качать», как это делал я, провоцируя ошибку противника, он всегда стремился к красивому завершающему удару. Оська, добродушно следивший за нашими баталиями, сказал однажды: «Отец обречен, он играет, а ты выигрываешь».

Постоянные мои выигрыши у Роскина озадачили динамовских завсегдатаев, и против меня выставили высокую, смуглую Тамару, имевшую второй женский разряд, но игравшую в силу слабого первого. У Роскина она всегда выигрывала, правда, не без борьбы, со счетом 7: 4, 6:4, 8:6. Тамара была атлетического сложения, с необычайно длинными, стройными и мощными ногами. Такие ноги я видел лишь у знаменитой гипсовой «Женщины с веслом» — олицетворения нашей цветущей молодости в довоенное время, но у живой, из теплой плоти женщины — никогда. Тамара отнеслась к сражению с чрезвычайной серьезностью. Она носилась по корту на своих божественных ногах, то и дело выходила к сетке и разгромила меня под ноль. Это был неслыханный позор. В утешение мне Оська говорил, что я проиграл не Тамаре, а ее ногам.

— Сыграй с Ниной, — уговаривал он меня, — Она не уступает Тамаре, но ты ее побьешь. У нее короткие волосатые ноги.

Ноги у Нины были действительно коротковаты, но зато белая майка обтягивала грудь Юноны, и я не стал искушать судьбу. Я вернулся к своему постоянному партнеру, Оськиному отцу. И вскоре понял и причину своих постоянных побед над Роскиным и причину жестокого поражения от Тамары.

Мы играли без судей, вернее, судьей была наша собственная совесть. И эта совесть заставляла Роскина каждый сомнительный эпизод трактовать в мою пользу. Тамара кричала «аут!», когда не была уверена, задел ли пущенный мною мяч меловую черту, и даже когда он задевал ее лишь слегка, Владимир Осипович все такие удары засчитывал в мою пользу. Он не считал нужным вытаскивать какой-нибудь укороченный мяч, если это разрушало зрелищную эстетику игры, Тамара пахала носом землю ради любого мяча, ничуть не заботясь о том, как она выглядит. Он все время помнил о достоинстве джентльмена, она без сожаления приносила в жертву свою женственность разгромному счету. Он щадил слабейшего, она его раздавила.

Игра Роскина была образцом того, что называется «fair play» («файр плей»). В словаре этот термин переведен на редкость неудачно — «справедливые условия». При чем тут вообще

условия? Буквальный перевод — «прекрасная игра» тоже не передает сути термина. Великодушная игра — куда ближе к делу. А может быть, так: чистая, достойная, великодушная, благородная игра, в которой игрок не воспользуется никаким случайным преимуществом или заведомой слабостью противника. Сейчас за «файр плей» дают призы, Роскин такого приза не дождался.

А потом началась война, и с теннисом было надолго покончено. Оська не вернулся с войны. С его отцом мы встретились, когда жизнь почти минула. Странно, в пору наших теннисных баталий я был юношей, а он зрелым мужчиной, и вдруг подравнялись — оба стали стариками. Правда, разница в двадцать лет между нами сохранилась: ему было восемьдесят, мне стукнуло шестьдесят. Он уже давно привык быть стариком и не ощущал этого: легкий, стройный, подвижный и по-прежнему элегантный, сохранивший поразительную трудоспособность. Я же не только не привык к старости, но цифра 60, вдруг связавшаяся с моей субстанцией, тягостно ошеломила меня. Я увидел себя маленьким, тучным стариком, у которого все позади, и сам себя списал в тираж. Справедливости ради скажу: ощущение своего возраста как бедствия через год-другой притупилось, чему, видимо, способствовала неутраченная трудоспособность, хотя работать я стал медленнее. Но все это к делу не относится.

Мы не виделись с Владимиром Осиповичем все эти годы по моей вине. Он сразу догадался о причине. «Неужели вы думали, что мне неприятно видеть вас, раз Оськи не стало?» И мы стали видеться.

А до этого я пошел на его выставку, которой МОСХ отметил восьмидесятилетие мастера. Мне кажется, что все его немногочисленные выставки устраивались лишь на юбилейные даты — 60-, 70- и 80-летие. Он хотел дожить еще до одной выставки, но не дотянул трех лет.

Превосходный график, великолепный живописец, которого высоко оценил очень добрый к людям и очень жесткий к художникам Тышлер, он числился по оформительскому цеху, а оформителям персональные выставки не положены, пиши ты хоть на уровне Сикейроса. А Роскин был хуже Сикейроса, хотя много лучше тех, которым широко открыты все выставочные залы Москвы и российской обширности.

Роскин был не только талантлив, но и очень продуктивен. Увидев огромное количество полотен на выставке восьмидесятилетнего человека, я решил, что это отчет за всю его творческую жизнь, но тут находилось лишь избранное из созданного за последние пять лет.

Роскин — художник с собственным четким миром, в котором

он прочно, свободно и уверенно существует. Нетрудно угадать токи, идущие от Пикассо, да он и не скрывал своего пристрастия к творцу «Герники», дав на выставку триптих, посвященный любимому мастеру. Он мог позволить себе этот опасный жест признательности, ибо не был ни эпигоном, ни даже прямым последователем Пикассо.

Мне вспомнились полотна Роскина, висевшие в Оськиной комнате: два автопортрета, на одном художник бреется, погружая лезвие бритвы в аппетитную, белую, как кипень, пену, обложившую щеки и подбородок; на другом он словно посмеивается над своим дендизмом: левый глаз выкруглен и вспучен моноклем, которого он никогда не носил; в малонаселенных натюрмортах непременно — ветка сирени, царят мои любимые цвета: зеленый и фиолетовый. Манера заставляла вспомнить об импрессионистах, хотя ни с кем конкретно связать его было нельзя. Это отступление в далекое прошлое было, как ни странно, попыткой сблизиться с настоящим, с тем победным направлением, которое все непохожее на себя предавало анафеме, и Роскин избрал наименее гонимый «изм» (закрытие бесподобного музея Западной живописи, бывшего Щукинского, произошло много позже). Помнится, он показывал свои импрессионистические полотна Луи Арагону и Эльзе Триоле — старым друзьям — и приехавшему с ними из Парижа почтенному искусствоведу. «Как хорошо! — воскликнул знаток. — Но если бы раньше!»

На этой выставке «импрессионистический зигзаг» не был представлен, не было тут ни графики, ни экспонатов, связанных с долгой работой Роскина по оформлению выставочных павильонов, ничего, кроме станковой живописи, причем, как уже сказано, последнего пятилетия. Ну и наработал художник в приближении своего восьмидесятилетия! И главное, он выровнял линию, идущую от первых послереволюционных лет к нашим дням, развив и обогатив всем опытом долгой жизни, твердым мастерством и бескомпромиссной верой в свою правду, заложенную в его искусство эпохой Маяковского. Многое шло от освеженной отроческой памяти и переживаний прекрасной взволнованной молодости двадцатых годов, и я почему-то решил, что тут полно авторских повторений. Каталог доказал мою ошибку: картины не имели аналогов в прошлом. Как свежа и сильна ностальгическая память художника! И как при этом целомудренна, чужда умильности и слезницы. Роскин до скупости строг, прежде всего в цветовом решении. Многие картины почти монохромны: разные оттенки серых, голубых, реже лиловых тонов. У Роскина почти не встретишь ярко-синего или

красного цвета, что, быть может, несколько обедняет его палитру, но вместе с тем придает ей удивительное благородство, деликатность и мужественность, соответствующие его характеру и манере поведения. Редко бывает, чтобы искусство и его творец были настолько похожи, картины Роскина — прямое продолжение его личности.

Он остался верен идеалам молодости, духу Маяковского…

Захотелось оставить несколько слов в книге отзывов. Не считая себя вправе вторгаться в теперешнее, неведомое мне самочувствие Владимира Осиповича, я написал в книгу так же уважительно, благодарно и «посторонне», как другие посетители, восхищенные подвигом восьмидесятилетнего художника. Оставленные мною строчки ни в коей мере не приглашали к ответу, напротив, давали понять, что ответ не ожидается. Но ответ последовал — телефонным звонком.

Через несколько дней я перешагнул порог его мастерской в том же доме, где располагалась выставка.

Мы стали видеться, не часто, совсем не часто, о чем я сейчас горько жалею, но постоянно. Мы праздновали 85-летие Роскина в его мастерской. Совершенно искренне он сказал мне: «85 — это много или мало? Я никак не могу понять». Народу набралось порядочно, в большинстве — его коллеги по оформительскому цеху, люди очень немолодые, но удивительно бодрые и свежие. Но всем давал фору стройный и элегантный девяностодвухлетний молодой человек, похожий на английского ленд-лорда, проведшего всю жизнь на свежем воздухе, в чистой природе за травлей лисиц, охотой на куропаток и ловлей рыбы. Этот ленд-лорд оказался заядлым горожанином, любителем женщин, бегов, поккера, трубки, марочного коньяка и при этом неистовым трудягой. Сильно пожилую, хотя и подтянутую мужскую компанию прелестно оживляли две молоденькие женщины. Тоже художницы. Все эти люди говорили тосты, да ведь известно, что юбилей — это день дозволенных преувеличений. И все-таки мне открылось много такого, о чем никогда не говорил Роскин. Я знал, к примеру, он сел за руль в шестьдесят лет, но мне и в голову не приходило, что до этого он просто не мог скопить на машину, о которой мечтал с юных лет. Он не продавал своих картин в частные руки, а официальные организации покупали его полотна редко и за мизерную плату. Я знал, что он побывал в Бельгии, где оформлял советский павильон на знаменитой выставке, но не знал, что это единственная его зарубежная поездка за всю жизнь. Потом он объяснил мне, что «всегда слишком много желающих, а он не умеет толкаться», к тому же требуется унизительное количество всевозможных бумаг, справок,

свидетельств. А я-то не сомневался, что, участвуя в оформлении нашего павильона на Международной выставке в Париже и получив там Гран-при, он побывал на родине импрессионистов. Узнал я и о том, что у него нет ни одной награды, ни даже звания «Заслуженного художника», которое детям ведущих мастеров кисти и резца присуждается при рождении, как некогда офицерский чин отпрыскам августейшей фамилии. А ведь если даже оставить в стороне его чистую, подлинную, не выпрашивающую похвал живопись, так непохожую на ту, которой широко распахнули ворота авгиевы конюшни, осаждаемые гумовской толпой (при необходимости ее объявляют «народом»), то все наработанное им в качестве оформителя, без сомнения, заслуживает признания и награды. Но, участвуя в выставке «Париж — Москва», он не получил даже каталога, не говоря уже о вызове в художественный центр мира.

Он вовсе не был каким-то нравственным аскетом, схимником, умерщвляющим дух, он не скрывал, что надеется хоть перед смертью увидеть монографию о себе и, будучи одиноким, беспокоился о судьбе своих картин. Он умер, не дождавшись ни монографии, ни последней выставки, не узнав, что будет с его художественным наследством. В маленьком и сухом некрологе, появившемся в «Московском художнике», о его живописи даже не упоминалось.

А впрочем, чему тут удивляться? Он жил, как и сражался на корте, по законам «файр плей». При всех обстоятельствах, каким бы ни был счет. Это, увы, не приносит победы, но приносит нечто большее. Об этом сказала, покраснев всем своим милым круглым лицом, молодая художница на его дне рождения, не ставшем юбилеем.

— При Владимире Осиповиче нельзя быть подлым, завистливым, хвастливым, нечестным — вообще плохим. Хотя он никогда никому не делает замечаний. Но становишься так гадок самому себе, что жить не хочется.

Она могла это сказать, ибо сама принадлежала к тем раритетам, которые исповедуют «файр плей».

Человечество до тех пор останется человечеством, пока сохранится хоть один не умеющий и не желающий играть иначе.

notes

Примечания

1

Это писатель!